

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА

ВРЕМЯ ЛАНДШАФТНЫХ
ДИЗАЙНОВ

Галина Николаевна Щербакова

Время ландшафтных дизайнов

авторский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=159270

Г.Щербакова Время ландшафтных дизайнов: Вагриус; Москва; 2004

ISBN 5-475-00065-4

Аннотация

Галина Щербакова пишет о превратностях любви, о скрещении судеб, о роковой повторяемости ошибок отцов в жизни их детей. Порой цена, которую готовы платить героини, чтобы победить жизнь-соперницу, победить во что бы то ни стало, даже если из-за этого надо пойти на преступление – эта цена порой не имеет значения...

Содержание

Галина ЩЕРБАКОВА

4

Конец ознакомительного фрагмента.

23

Галина ЩЕРБАКОВА

ВРЕМЯ ЛАНДШАФТНЫХ ДИЗАЙНОВ

Повесть

Нельзя рассчитывать на удачную жизнь, родившись без десяти двенадцать тридцать первого декабря. Матушка моя любила рассказывать, что ей ничего не стоило подождать, но она требовала стимуляции, тужилась до посинения и выпученных глаз и – добилась своего! Это же надо, еще не видя дитя, не успев его не полюбить, приготовить ему такую подлянку. Как выяснилось, маме хотелось звона, салюта, совпадения праздника – я знаю чего? И меня, едва оприходовав, завернули во что-то близко лежащее и убежали открывать шампанское, совершенно не дитя имея в виду. Чертово изображение! Оно у меня заводится на раз. Ну откуда мне знать, что меня завернули «во что-то близко лежащее»? В тряпки, что ли? Тем более что с мамой на эту тему не поговоришь... Мол, что за глупый интерес? Но мне до комка в горле интересна я сама – та синенькая, скользкая, мокрая, испуганная маленькая старушка, которую, туго завернув, превратили в

фасолину. Мама расщедрилась только на одну подробность. Ей тогда поднесли полстакана шампанского. Она отнекивалась, попросила сока, на нее фыркнули: интеллигентка сраная, откуда у них сок? Это пусть муж приносит. Пришлось глоток все-таки отпить. А что бы ей выпить весь тот полстакан – может, и запузырилась бы и моя жизнь бОльшим праздником?

У меня же в результате тех самых десяти минут никогда не было настоящего, для меня, дня рождения. Детей ко мне приглашали к вечеру, когда было ясно, что холодец застыл, и мама, ткнув в него пальцем, могла вздохнуть спокойно. Дети приходили заполошенные – они знали, что у них дома сейчас очень интересно: под елку кладутся разные разности, а ты тут сиди, нюхай чужой праздник и ничего не трогай, потому как ты гость, опять же промежуточный. Детей выпихивали быстро. «Не в ночь же им уходить». Когда мне стало двенадцать, я потребовала автономного праздника, мама улыбнулась широко и радостно и предложила объединить эти два важнейших события. И моих подружек посадили за стол вместе со взрослыми. В десять часов мы провожали старый год, в одиннадцать – встречали новый год на Волге, в двенадцать громко орали, о нас забыли напрочь, даже папа, у которого ответственная миссия – как раз без десяти двенадцать открывать шампанское. Мама бегло чмокает меня в затылок: «Правда, здорово родиться в Новый год?» Потом все ждут первого удара, загадывают желания, жгут бумажки,

чтоб сглотнуть пепел вместе с шампанским. Обо мне вспоминали где-то в полвторого, когда за подружками приходили веселенькие папы и им наливали в прихожей, а меня ставили в центр, как елку, и просили кружиться, пока все пили за мое драгоценное здоровье. А на самом деле на посошок. Окончательная ненависть к дню рождения сформировалась лет в четырнадцать. Неосторожный папа когда-то то ли в шутку, то ли в плане розыгрыша сказал, что маме очень, мол, хотелось, чтоб я успела родиться в год столетия Ленина. Это ж надо такое сморозить! Но дурочка мама была лютая ленинистка, что называется, до красных глаз. Она, обремененная мною, вышивала бисером кудрявую голову чужого ребенка – этот бисерный дитя Ленин даже попал на какую-то выставку и с божьей помощью на ней затерялся.

Я не собираюсь день за днем рассказывать, как я дожила почти до возраста Христа (корректно ли такое сравнение для женщины? Не вскинут ли к небу топориком подбородки разгневанные попы от подобных вольностей?). Ну да бог с ними... До без десяти двенадцать 2003 года у меня еще есть время и может быть – а может ли? – я в конце концов обрету себя ту, у *которой* все будет складно и ладно. Обрету наконец лицо. Или, может, наживу его?

Я ведь не очень получилась в смысле внешности. У меня высокий рост, но я до сих пор сутулая. У меня длинная талия и широковаты бедра. В общем, есть момент, будто меня сложили из разных «конструкторов». Занятая бисером, мама не

смотрела ради меня ни на красивых женщин прошлого, ни на хорошеньких советских артисток. Что за глупости? Родилась – значит, уже счастливая, значит, не сутулься. Жизнь дается один раз – и далее по тексту.

Я была послушная – я прямилась до скрипа шеи. Это сейчас каждый восьмиклассник, еще не зная «У лукоморья», уже знает, что такое комплексы и как с ними бороться. Они, нынешние, молодцы, не стесняются себя самих – еще чего! А я стеснялась – роста, худых рук и длинной шеи.

Но замуж я выскочила раньше всех – на первом курсе. Это свойство всех стеснительных барышень. Страх страхов в них накапливается до критической массы и дает залп отчаянной отваги.

А тут еще и время ускорило бег. Все, как сумасшедшие, срывались с места и уезжали в белый свет как в копеечку. Наверное, это не совсем корректное выражение, ладно, пусть – уезжали же, не плевали, – но по сути точно. Фиктивные браки, фиктивные национальности, фиктивный восторг перед тем, что их ждет, и абсолютное презрение к тому, что оставлялось. Может быть, потому, что не сбежала из дома, не ударились во все тяжкие, мое раннее замужество всячески поддерживалось именно мамой. «Какой он милый, твой Миша!» – «Мишенька, хотите супчику, наверняка, вы не обедали!», «Мишуня, можно я вам по-матерински пришью хлястик, он у вас на одной ниточке».

Мама была тошнотворна. И у меня закралась мысль: не

боялась ли она, что меня никто не возьмет, оттого и Мишке она – гордая партийка – стелилась под ноги?

Моя матушка и Мишины шнурки (в смысле родители) были как бы одной крови. Они в соплях оплакивали кончину советской власти, ее агонию. Они ненавидели Горбачева, который «взял манеру ездить повсюду с женой» и посягает, посягает на святых (Господи! Он же был так деликатен с ними со всеми). И была бы эта родительская компашка из партбонз или хотя бы близко к ним. Черта с два! Рядовой состав шестерок. Но они носили партбилеты как тавро, как знак, что им как бы что-то дано свыше. Только папу пьянили перемены, а однажды, кажется, после вильнюсских событий, он устроил дома большое аутодафе – сжег партбилет в большой кастрюле, в которой всегда варились копыта для холодца. Мамы, конечно, не было дома, и мы творили злодеяние вместе. Чиркнула спичкой я. Боже, какая была вонь! Как бесстыдно крючились корочки, как расплывались чернила и штампы страниц уплаченных взносов. Быстрее всего сгорел папа – на фотографии.

– Только не говори маме, – сказал он мне, подмигивая и отчищая кастрюлю.

– А давай сожжем и ее билет, – предложила я.

– Ты что! – закричал папа. – Она же получит инфаркт!

– Спорим, не получит! – кричала я. – Спорим! – И я кинулась к маминой сумочке. Но тут она явилась сама – окна нараспашку, папа в саже, а у холодецкой кастрюли непотреб-

ный вид...

– Не волнуйся, Наточка, – сказал папа, – меня завалили платежные квитанции за двадцать лет. Я сделал им секир-башка при помощи огня.

– Надо было просто выбросить на помойку, – ответила мама, – хотя ты торопишься, выбрасывая документы советской власти. Торопишься, мой друг! Мы еще живы.

Это ж надо так пафосно – «документы советской власти». Но тогда все обошлось. Потом мама с гневом сообщала, что кто-то выкинул партбилет с очистками от картофеля, кто-то вернул в райком, а какой-то безумец сжег свой билет, но сам жить остался.

– Ну, Ната, – нежно сказал папа, – он же все-таки живой человек, а это как никак бумажка.

– Но ты бы смог? Смог? – кричала мама.

– Папа не такой! – кричала я. – Как ты смеешь задавать такие вопросы?

Я боялась, что честный папа не выдержит допроса с пристрастием и скажет правду. И что тогда будет? Что?

Папа крутнул шейю. Был у него такой жест, как бы от попавшей в горло косточки. Жест болезненный, инстинктивный и очень, очень жалкий. Так он дернул шейю, когда умерла бабушка, когда попала под машину наша собака, и вот теперь по случаю, на который даже слюны жалко. Вообще в связи с перестройкой маму клонило в оды – о предательстве, гибели идеалов и прочее, прочее...

И тогда я ляпнула.

– А вообще-то... Чтобы зло пресечь, то взять и все билеты сжечь. Чтобы...

Я не договорила некие слова про чистый воздух в атмосфере, потому как получила оплеуху. Мама в стиле оды кричала о святынях, знаменах, пролитой крови, о светлом идеале.

– Не светлом, а бисерном, – пискнула я, – сюр из стекляшек.

Мама замолкла сразу. И я подумала, что многовато для одной минуты двух подавившихся моими словами родителей. Я хлопнула дверью и рванула в никуда, а на площадке, стоял Мишаня, он невольно слышал наш крик, потому как тогда еще не было моды ставить двойные двери.

Мишаня подхватил меня под руки, сказал, что сейчас во многих семьях базарят на эти темы. Он от своих убежал по этой же причине. Только у них папа заводила. Собрал общее партийное собрание в их институте, а никто не пришел, не то чтобы совсем никто, но и не столько, чтоб можно было разговаривать.

Вот на этом фоне партийной при (в смысле распри) мы с Мишкой и поженились. Родители слились в крутом объятии, бабушка отдала нам однокомнатку, в которой пахло старой-престарой старостью, которая не от грязи, не от уписанных штанишек, – так пахнет предтлен, главный адъютант смерти, который приходит и поселяется и надышивает квар-

тиру так, как надо смерти, чтоб она пришла и взяла то, что ей причитается. Мы сами поклеили обои и покрасили окна и наличники. Большого мы не умели. Родители дали что-то из своего скарба, шифоньер, диван-кровать, стол столовый с пятном от утюга, а на кухню купили новые посудные грубо крашенные полки и стол со стульями им подстать. Мы хорошо жили с Мишкой, пока шла вся эта кутерьма. Весело. Правда, с сексом у нас не получалось. Я как-то заикнулась маме и при помощи слов другого ряда пыталась что-то спросить. Но мама подняла руку и как отрезала:

– На эти темы я говорить не умею и не буду. Это интим, дорогая, это двое и никого больше. Даже не понимаю, как у тебя язык повернулся?

А он ведь в сущности и не повернулся, он лежал во рту сырой и тяжелый. Так я и несла его во рту, безъязыкая с языком. Нашла к кому обратиться!

– Мишка! – спросила я мужа. – Что такое оргазм?

– Класс! – ответил он.

– А почему я про него ничего не знаю?

– Значит, ты фригидная, и я тут ни при чем.

Слово «фригидная» я, к стыду своему, узнала только недавно, и мне стало так обидно, что мне в жизни и это досталось ко всем моим неуклюжестям. Но если честно, больше мне было от Мишкиного «я тут ни при чем». Я думала, у нас все общее и все при чем.

Я стала наблюдать и изучать процесс нашего хилого инти-

ма и обнаружила, что он всегда торопится: не пошепчется, не поласкается. А я стесняюсь сказать, чтоб он не торопился, стесняюсь его обидеть. Представляю, какой смех это вызывает сейчас. Это ведь было до ваучера, до денег с большими нулями, еще раньше, до августа девяносто первого. Тогда таких юных дев и жен еще было навалом. Их воспитывали мамы из коммуналок, убежденные, что «не в этом счастье». Нет, конечно, уже кое-что появлялось, и фильмы порнушные привозили, и кама-сутру ксерили до посинения. И я это все видела. Но я еще стеснялась, дура. Я тут хотела написать слово «целомудренная», но что-то меня удержало – целоумие. Это слово куда более важное для нашего времени со сдвигом – целоумие. Ум в мешке. А целомудренной я не была, я жаждала страстей, я вышла замуж по желанию, требованию тела, ну кто ж знал, что ничего у меня не получится? Горе воспитания в доме и в школе было в том, что нам давали знания, а ума для понимания этих знаний мы не получили. Ум для понимания – это уже оценка того, что знаешь и видишь, точка зрения, выбор позиции.

Помню такой случай. На коллоквиуме по древней истории ляпнула: «Кремль и прилегающие к нему места легли в основу истерического центра Москвы». Я, конечно, поправилась, но задумалась: подкорка мне выдала самое точное определение из всех возможных. Из Кремля всегда шел истерический ток, и бил он будь здоров как. Так что, конечно, лучше бы там не было живых людей, тем более президента. Оставили

бы Кремль, как Тауэр, музей с живыми соколами на зубчиках стены. К тому же Кремль окружен покойниками, из которых хорошая часть – убийцы. Ну, какая мысль может родиться в таком месте, кроме истерической?

Надо сказать, что меня не очень поддержали. Кремль – закричали – не Тауэр. Тауэр – не Кремль. А я растерялась. Я так хорошо видела соколов на зубчиках. Много, много птиц. Клювастые, когтистые, злобные. Совсем, как люди. В конце концов птички меня и заклевали с моей хиленькой собственной мыслью.

Я рассказала об этом случае Мишке. Он тоже не был на моей сторонек.

– Тебя заносит, – сказал он.

И хоть мы, изгнав из квартиры дух тлена бабушки, наполнили ее новыми звуками и запахами, подкорка моя при свистнула, что это не навсегда. Что мы с Мишаней попутчики на каком-то отрезке жизни, веселые попутчики, но дорога идет к концу. Вот-вот – и кто-то сойдет на остановке. Почему я думала, что это буду я? Почему подкорковая сволочь, сказав главное, не намекнула хотя бы, что не я сойду, а меня сбросят? И так легко, запросто. Как ту самую пресловутую красавицу-княжну. За борт! Плюх – и точка.

Была у меня подружка еще с первого класса. Танька-балда – так ее все обзывали. Принципиальная троечница все школьные годы. Даже по физкультуре.

– Не полезу я на эту шведскую стенку. Еще навернусь, –

бормотала она, – не нужна мне ваша четверка-пятерка.

Тогда я первый раз подумала, что Танька – не балда, что она вполне в своем уме. А ум – он разный. Мне папа еще маленькой объяснил теорию относительности. Глупо объяснял, по-детски, но, возможно, он так ее и понимал.

– Пока мы с тобой дошли до булочной, где-то далеко-далеко, в космосе, может, прошло сто лет, а какой-нибудь микроб прожил всю свою жизнь. Нельзя все равнять по человеку.

– А по микробу? – спрашивала я.

– Тоже нельзя. В этом вся штука.

Он путался и стеснялся, он вообще стеснялся по любому поводу, милый мой папочка, не было на свете его лучше. Я всегда знала, когда у него начинается смущенное смятение, с самого детства. Я очень любила его в эти минуты и инстинктивно (так я понимаю сейчас) переводила на другое. Или просила мороженое, или пописать. Он так всхлопывался, как будто его застали за чем-то неприличным, а его всего ничего – застали в смущении, неумении объяснить, робости сказать не то. Господи, куда же они делись, такие люди? Сейчас у каждого сто слов под языком – и все дурацкие.

Так вот о Таньке. Там, у шведской стенки, на которую она не хотела лезть, я почувствовала (еще не поняла), что никакая она не тупица, что у нее, как у микроба, своя жизнь, свое время, свои понятия, а все остальное для нее случайно, могла быть шведская стенка, а могла быть мебельная. И я к ней

прилипла по принципу противоположности. Мы с ней просидели на одной парте последние годы школы. Она списывала у меня все, а потом старательно вносила несколько ошибок (у меня их сроду не было), чтобы не смущать учителей своим знанием, не менять имидж, как сказали бы сегодня.

Она собиралась после школы идти работать в кондитерский отдел. Сладенной она не была, а выбор объяснила так.

– Единственное место в магазине, где не будут вонять руки.

Как глупо я рассказывала ей про античную литературу, которую начала читать в девятом классе. Она слушала вполуха, иногда неожиданно перебивая.

– В Древней Греции были одни гомики. От них и пошла эта зараза.

Я терялась: откуда она это может знать?

– Нам не все говорят, – говорила Танька. – Нам в школе морочат голову высоким. Жизнь и история чаще всего маленького роста.

Ах, Танька, Танька! Как же ты была права.

Танька подшивала мне свадебное платье, оно же бывшее выпускное, и кто-то сказал, что это не очень хорошая примета – подшивать. Она перекусила нитку и ответила, что нехорошо, если бы у нее был интерес к жениху, а у нее ничего подобного, она уже беременна на седьмом месяце от другого. И тут только я поняла, отчего у нее как-то расплющилось лицо и расквасились губы, но ведь она не была замужем? Ка-

кой ужас! Значит, она еще в школе была с пузом?!

Моя хиленькая, на двадцать персон свадьба в родительском доме, с холодцом, оливье и маминым некрасивым и жирным капустным пирогом вся прошла в мыслях о Таньке. Я целовалась под «горько» и думала: «Бедная Танька!» Я получала чайные сервизы и постельные наборы и думала то же. Причем, я не удивлялась, что не знаю, с кем у нее случился грех, что она не поделилась со мной своим горем (?!), тогда как я прибежала к ней как оглашенная, когда Мишка стал со мной целоваться *не просто так*.

– Ну, на тебе за это конфетку, – сказала Танька, протягивая трюфельку, – девочка вышла из страниц...

– Каких страниц? – не поняла я.

– Тех самых, – ответила, – которые в обложках. Пора, девка, давно пора.

Почему «девка»? У меня имя есть, и мы подруги... Сказывается мир торговли, просторечие, деревенщина.

И больше ни слова, даже не виделись толком, пока не случилась свадьба. И, конечно, я ее позвала, и, конечно, я зацепилась за гвоздь – и пополз низ подола, и она взяла нитку и, сев на пол, подшивала мне подол. Мама почему-то старательно выдавливала слезы, папа был смущенно-растерянно печален, бабушка, в чей тленный квартирный дух нам предстояло ехать, после модного тогда торта «Птичье молоко» рассказывала про свою свадьбу в тридцать седьмом году, которая была вынесена во двор, потому как не было комнаты,

где бы можно было поставить стол. Поэтому к доминошному столу приставили нормальные, и было очень весело. Бабушка переходила от одного к другому и в одних и тех же словах повторяла это, пока мама резко не усадила ее возле себя и почти насильно засунула ей в рот кусок сервелата. Я подошла к Таньке. Она сидела далеко от меня, не хотела выходить из-за стола, но ради невесты вышла.

Она сказала мне до того, как я приготовилась раскрыть рот.

– Не приставай. Кто он, все равно не скажу. Он женат, но порядочный. Купит мне квартиру и будет помогать. Родителей это устраивает, ты же знаешь нашу перенаселенку. Отец предупредил, что если не сдержит слово, отрежет ему яйца. – Танька засмеялась. – Так что у меня все о'кейчик, и не смотри на меня жалобно. Вот перееду, позову на новоселье.

Но потом она исчезла, как и не было. Ни новоселья, ни крестин. Значит, никакой подругой по большому счету Танька не была, ну и не надо, мне и без нее хорошо. Правда, было хорошо. Еще были очень романтические отношения с Мишкой, очень интересно было учиться. Оглянуться не успела – уже третий курс кончаю. Это как раз девяносто первый, танки в городе, «Лебединое озеро» в телевизоре, и Ельцин такой молодой, и юный Гайдар впереди.

Такое сексуальное время, а я – оказывается – фригидна. И я читаю нужные книжки, их почему-то навалом, как нарыв прорвало, жратвы нет – пустые полки во всех магазинах,

но жажда оргазма удовлетворяется книжным словом сполна. Так что же в человеке все-таки первично? Все всполошенные, у всех блестят глаза.

– Что угодно – конец света, потоп, но что мне придется дожить до краха советской власти – об этом я и думать не могла. – Это мама в слезах.

Нам же с папой все нравится. Мишка настроен скептически. «Смотря кто возьмет верх». Мама же в трансе. Она ходит на тусовки коммунистов, они готовятся к борьбе и победе типа «за ценой не постоим».

– Сколько же можно не считать цену? – урезонивает ее папа. – Ваша цена – это ведь человек, жизнь. Она ведь не повторится. Как же не жалко!

– Не вздумай забеременеть! – Это мне мама. – Не известно, куда идем.

А мне как раз хочется. Мне кто-то сказал, что роды лечат фригидность. Ребеночек, идя на свет, как бы растворяет у женщины всю ее зажатость и даже, можно сказать, девственность. Плева – это такая чепуха в широкой проблеме девственности. Я почему-то в это верю, а вокруг идет такой всемирный трах, такое освобождение, выбрасывание в окна принципов и постулатов типа: «Умри, но не дай», «Любовь с хорошей песней схожа» и др. и пр. – все заголяются, все дают. Я, конечно, в стороне, так как замужем, и мне не надо уже лезть на баррикады для освобождения от девичества, другим же просто отрывают руки и ноги – так тащат любить.

– Дура, – говорит мне Мишка, – только увидела! Да секс – первый революционер, это он прокричал «ура», еще лет десять-пятнадцать как, все давно спят вповалку, и начал это комсомол, знаешь, какое совокупление было в ЦК ВЛКСМ и их гостинице «Юность». Но было правило не сбрасывать одеяло. Все было под ним. А сейчас сбросили.

Почему же я этого ничего не видела? Слепая? Глупая?

Ну, были у нас в школе случаи позора. Девочка в восьмом классе забеременела. Выгнали в два счета, и где она и что с ней? Знала я в нашем доме гулящую, она всегда ходила слегка под балдой и летом визжала во дворе, когда ее «рвали на куски» – выражение мамы. Но наутро она была целенькая, как огурчик, веселая, с косящими от кайфа глазами. Но она была одна!

Главное – всеобщая доступность и дозволенность – меня не коснулись совсем. «Меня не рвали на куски», ко мне не приставали с гнусными предложениями, не пытались познакомиться. Видимо, моя фригидность была написана на моем лице большими и квадратными (для плохо читающих) буквами. И во мне росли такая преданность Мишке, такое обожание, что он меня взял и спит со мной, равнодушной коровой. Я ослепла на два глаза в своей какой-то бабьей признательности до степени полной идиотки. Тут-то все и случилось.



Я как ни в чем не бывало прихожу домой, а в доме нашем пахнет воровством. Никакого переносного смысла, а в самом буквальном. Пустая вешалка, нет видюшника, нет любимого желтого батика с коноплей, кальяном и маковой головкой. Когда мы его покупали с Мишкой возле художественного салона, никакого подтекста (хотя какой подтекст, все в открытую) не увидели. Просто пленил рыжий цвет с капелькой красноты, как подтеком крови, и крошкой черноты на маковом хвостике. А главное – продавал, видимо, наркоман, почти даром, у него тряслись руки, и ему нужна была доза незамедлительно. Грешный батик хорошо украсил наш скромный быт. Ядовитая травка так распахнулась вся наружу, что не удержаться и плюхнуться на нее слабеющей от красоты мошке-человеку – было самое то.

Мои вещи остались на месте. Из серванта взяли набор для виски, который был подарен на свадьбу, но которым (одним стаканом) пользовался только Мишка, когда в доме оказывалось виски. Мне виски не нравилось, я пила вермут с соком из большой чайной кружки, что была на все про все.

Я, видя все это, очень расстроилась за Мишку. Черт с ним, с воровством, но пострадал-то он один. Хоть бы для приличия сволочь взяла какую-никакую мою побрякушку. Хотя это глупость – у меня ничего стоящего сроду не было,

сплошная металло-стеклянная галантерея. Я пошла к телефону, чтоб упредить и успокоить мужа и пообещать, что мы все наверстаем. Разве что батик... Его до слез жалко. Я пошла к телефону звонить Мишке, чтоб он избежал шока, придя домой. Он тоже любил батик, уже не говорю о сервисе для виски. Прямо в кружочек набора цифр был вложен в четырежды сложенный листок. И я подумала? «Мишка уже был дома, все видел и упреждает, успокаивает меня. Подумаешь, батик! Подумаешь, стакан! Да не бери ты в голову!».

И я почти благодарно за его заботу обо мне разворачиваю листок. Я отсталая. Меня не доносили как минимум десять минут внутриутробной жизни.

Вот что было написано на листке.

«Инга! Я слинял. Думаю, что тебя это не должно удивить. Все у нас с тобой тухло, тухло и стухло. Я ушел к женщине, с которой у меня связь уже два года. Ей надо было развязать отношения с мужем и закрепить за собой квартиру, дабы я мог уйти красиво, не требуя раздела и прочее. Она взяла на себя трудное, поэтому ухожу легко, ибо ничем тебя не ущемляю, я взял только то, что мне дорого как память. Ты хороший человек, подруга, и я желаю тебе всего самого лучшего. Я же всегда буду любить и уважать тебя как друга, надеюсь, и ты тоже.

Михаил».

Я смотрю на квадрат обоев, где висел батик. Он ярок, потому что не выцвел. Если его взять в рамку, получится сюр-

картина из прямых полосок бежевого и желтого цветов, которую можно так назвать: «Бежевое и желтое не пересекаются». Где я была эти последние два года? Уезжала в экспедицию в поисках забытой русской речи? Лежала в тяжелом анабиозе? Проводила перепись населения на Таймыре? Я была тут все эти два года, пока мой муж окучивал другую женщину. И я не унюхала это, моя знаменитая подкорка лежала-полеживала, не выполняя своих прямых функций.

Автоматически я нашла бобину со старыми записями, оторвала метра три пленки и сделала-таки рамку вокруг невыцветших обоев. Место перестало быть пустым, полоски на обоях внутри пленки как бы напружинились, обозначились. «Ну что, – подумала я, – в середину можно прикрепить Мишкину цидулу», я бы так и поступила, но изнутри подымалась выше дома, выше крыши мысль, что меня бросили, что *меня сделали*, как говорят теперь молодые, что мне предстоит объяснять что-то родителям (какой ужас!), знакомым, хорошо, что мы с ним хоть в разных сферах жизни. Я кончаю свою журналистику, он уже окончил свою Менделеевку и ушел в промышленную фармакологию. Интересно, его баба там тоже шьется или он нашел ее в метро? Сел как-то в поезд, а рядом она, такая вся сразу родная и теплая, что так бы с ней ехать и ехать... Ехать и ехать. Что он и сделал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.